

над героем трагедии. Но что такое Мойра, если не олицетворенная неизбежность событий, непоборимая власть видимого мира?

Каково бы ни было отношение к философии Льва Шестова (к сожалению, характер и размеры газетной статьи не допускают более детального разбора его книги), нельзя не признать, что поставленные им вопросы столь значительны, что не могут притязать на исчерпывающий ответ. В самой постановке таких вопросов — о самом важном — неоспоримая ценность «Странствований по душам».

В заключение хочется лишь отметить родство Льва Шестова и его мысли с многими положениями Анри Бергсона в области критики рационализма. Но власти разума, как справедливо замечает Шестов, автор «Творческой эволюции» избежать не мог — с того момента, когда он захотел непосредственные данные своего сознания облечь в формы философских построений. Лев Шестов слишком мудр, чтобы быть ослепленным собственным творчеством, и, конечно, хорошо понимает, что участи Бергсона не избежать и ему. Философия недосказанного обречена быть — да простят мне невольную игру слов! — недосказанной философией. Поскольку же автор «Странствий по душам» пытается «заключать», хотя бы на основании иррационального опыта великих философов и художников слова, он неизбежно попадает под ненавистную ему власть разума... И в конце концов, читателю поневоле кажется: уж не последовательнее ли Гуссерль, с которым в последнем своем очерке полемизирует Шестов, — Гуссерль, впадающий в обратную крайность, отвергающий глубокомыслие и мудрость и, по стопам Декарта и Спинозы, провозглашающий философию «строгой наукой».

## Г. Л. ЛОВЦКИЙ

### Л. Шестов: На весах Иова (Странствования по душам)

Трудно передать в немногих словах все богатое содержание этого восьмого тома сочинений Льва Шестова, да оно и не так необходимо: читатели «Современных записок» имели возможность ознакомиться почти со всеми философскими трудами, вошедшими в этот том, так как они предварительно появлялись на страницах этого журнала.

Есть еще одна трудность: у Шестова, поставившего себе целью всей своей философской деятельности борьбу с прочными устоями-идеями научной или наукообразной философии, отрыв от почвы строгого, по законам совершающегося догматического мышления, есть определенные задания и темы, но нет фундамента из ряда строгих принципов,

на котором он возводил бы систематически здание своей философии. Его мысль приходит из страны неведомой, вдруг, внезапно и таким же загадочным образом уходит во второе измерение времени, за пределы, очерченные «ясно, в страну великой и последней Тайны». «По самой своей природе тайна такова, что она не может быть открыта, а Истина постигается нами лишь постольку, поскольку мы не желаем овладеть ею, использовать ее для “исторических” нужд, т. е. в пределах единственного известного нам измерения времени. Как только мы захотим открыть Тайну или использовать Истину, т. е. сделать Тайну явной, а Истину всеобщей и необходимой — хотя бы нами руководило самое возвышенное, самое благородное стремление разделить свое знание с ближним, облагодетельствовать человеческий род и т. п., — мы мгновенно забываем все, что видели в “выхождении”, в “исступлении”, начинаем видеть “как все” и говорим то, что нужно “всем”. Т. е. та логика, которая делает чудо превращения отдельных “бесполезных” переживаний в общепользней “опыт” и таким образом создает необходимый для нашего существования прочный и неизменный порядок на земле, эта логика — она же и разум — убивает Тайну и Истину» (80–81). Но философы всех времен были более всего озабочены тем, чтобы изгнать Тайну из жизни, создать единообразие суждений, связанное с идеей необходимости. Кант находил эту железную необходимость, принудительность в «королевском пути» математических и естественных наук, Спиноза — в аксиомах, теоремах, постулатах, и он строит свою философию по науке, *more geometrico*. От зоркого взгляда и Юма, и Канта не могли укрыться те чудеса, свидетелями и действующими лицами которых мы являемся на каждом шагу в жизни. В человеке существует таинственная чудесная сила, позволяющая самой утонченной мысли действовать на грубую материю. Это ведь равносильно тому, как если бы человек обладал силой путем тайного желания передвигать горы или направлять планеты в их орбитах, задержать луну в ее движениях. И от таких чудес философы укрываются — Юм в «привычку» нашего разума, Кант — в непостижимость «вещи в себе». Метафизика, прозрение чудес для них невозможно, а если есть чудеса на белом свете, то их надо обратить в «естественные чудеса». Все должно равняться по математике, по естественным наукам: они дают ту осязаемую прочность и достоверность на земле, к которой всегда стремились философы, и усыпляют тревогу, живущую в человеческих сердцах. Науки «оправдали» себя, они включили и человека в общую цепь необходимости, почему же и философии не стать строгой наукой? И современное научно-философское познание превращает живого человека в чистый принцип, наделенный «трансцендентальным единством апперцепции» (Кант) в «сознание вообще», в «*Le moi infallible dans ses constatations immediates*» (Бергсон)<sup>1</sup>, в гуссерлевское чистое я, вплоть до Heidegger'овской «чистой» формулы — «*das man*»; научная

философия уходит или в панлогизм, или в этический идеализм, идею автономного добра, по которой должна равняться действительность. Все эти идеи, все эти «вечные» истины в нашей власти, а философы всех времен были более всего озабочены тем, чтобы не выпустить из рук жезла Меркурия, который, по словам Эпиктета, все обращает в добро. Болезнь, горе, неудачи, «постигающие одинаково праведных и неправедных», объявляются безразличными или даже несуществующими, и на вопль Иова, дерзнувшего препираться с Господом, Спинозизм, владеющий философскими умами, отвечает: не смеяться, не плакать, не проклинать, а понимать, т. е. идти искать истину к тому судье неправедному, к разуму, который еще в древности «увидел», что необходимость — непреодолима, к мудрости стоиков и платоников, подобострастно смотрящей на разум и принимающей все, что разум увидел, за самоочевидное: «добро», реально только то, над чем разум властен, «зло», не существует то, что разуму неподвластно. Еще в древней философии этика заняла место онтологии. И так оно остается до наших дней. В этом смысл Спинозовского «под знаком вечности или необходимости», уводящего человека из мира действительности к своим треугольникам и теоремам; в этом смысл Гегелевского «что действительно, то разумно»<sup>2</sup> (349).

И лишь тогда, когда человек почувствует, что созданные нами идолы и ценности нечто условное и относительное, а истинная реальность — в том, что все нами создано, наступает «истинное пробуждение души к самой себе» (Плотин); он бежит из «всемства» вместе с Достоевским, «по ту сторону добра и зла» с Ницше, стряхивает с себя чары и сверхъестественное наваждение общего аристотелевского мира с Паскалем. «Величайшая и последняя борьба», величайшее душевное напряжение может нас вырвать из сонного оцепенения нашего обыденного мышления и привести туда, где истина не принуждает, а одаряет, и разум из узурпатора, господина превращается в слугу и раба.

В редкие минуты пробуждения души к самой себе, мы нашим вторым зрением начинаем видеть, что истина не там, где нас приучили ее видеть измеряющие все на земных математических весах славильщички разума, что разум сам должен оправдаться в тех самоочевидностях и предпосылках, на которых он держится. Психологически возможно, т. е. реально то, что логически нелепо, бессмысленно (37).

Надо дойти до корней вещей, до основных предпосылок и самоочевидностей, на которых держится научная философия, и оттого пышный расцвет рационализма в лице Гуссерля, одного из самых мощных и смелых умов современной немецкой философии, привлек особенное внимание Шестова еще во «Власти ключей». Когда «гуссерлевская стена, закон, арифметика», как выражается В. Fondane в очень дельной статье, посвященной философии Гуссерля в журнале *Europe* (15. VI.1929)<sup>3</sup>, столкнулись с шестовской беспочвенностью,

выяснилось даже для самых правоверных учеников и сторонников Гуссерля, как страсбургский профессор Hering<sup>4</sup>, что самые сильные возражения феноменологии были представлены русским мыслителем. Феноменология держится на вере, что разум в оправдании не нуждается. «И в тот момент, когда он (Гуссерль) эту веру утратит (а раз такое могло “случиться” с Плотинем, то где ручательство, что какое-нибудь неожиданное *memento* не вышибет почву из-под ног и самого убежденного рационалиста?), что останется от державшейся на самоочевидностях теории познания?» (370.)

Каждый из нас носит в себе своего Гуссерля, и надо его побороть в собственной душе, чтобы дойти до корней основных философских проблем. Тут начинается та пропасть, в которую научно вышколенные философские умы боятся заглянуть. Даже Бергсон, когда наступает момент «взлететь над познанием», боится потерять почву под ногами и возвращается от своей «бесосновности», чтобы не быть «сметенной наукой», к бдительной опеке разума, к «интегрированию дифференцированного научного опыта». И это французский мыслитель называет метафизикой!

Но для Шестова истина проходит в жизнь, не предъявляя никому оправдательных документов. «Истине не нужны никаких оснований — разве она сама себя не может нести! Последняя истина, то, чего ищет философия, что для живых людей является самым важным, — приходит “вдруг”. Она сама не знает принуждения и никого ни к чему не принуждает» (371). Это видел Плотин, когда внезапно в его душе начинал сиять свет, это видели в редкие минуты пробуждения души к самой себе от сверхъестественного наваждения Паскаль, Достоевский, Толстой, Лютер и те многочисленные мыслители, странствования по душам которых предпринял Шестов. И как не похожи истины, которые они видели в минуты неизреченных постижений, на ту общеобязательную истину, которая навязывается людям в аристотелевском общем мире, во «всемстве», когда души «вкушают хладный сон», общий сон жизни с открытыми глазами.

Шестовская беспочвенность пугает робкие умы, и на опасном повороте человеческой мысли они кричат: «Осторожно!» Недаром португальский ученый Vieira del Almeida в своих *Opuscula critica*, посвященных философии Шестова, говорит, что «сверхрационализм» русского мыслителя требует не учеников, а последователей<sup>5</sup>. Ученики привыкли поминутно оглядываться и снова пробовать почву под ногами, чтобы не провалиться, как некогда Фалес, под веселый хохот здравого смысла в колодезь. Кто привык подобострастно прислушиваться к голосу разума, говорящего как власть имущий, тому и не надо глядеть на Небо. Путь к метафизике закрыт для него навсегда.

Немецкая философская мысль, которую переживания последних десятилетий подвели близко к пропасти, отмечает в связи с недавним

появлением разбираемой книги в немецком переводе, что в философии Шестова не только дана критика чистого разума, но и восстановлена в правах захуленная «математическим» методом искания истины капризная, изменчивая метафизика. Шестов даже не задает себе вопроса, возможна ли метафизика. «Свалившему разум» не надо и спрашивать, как не надо было спрашивать Плотину в моменты экстаза и бегства к своему Единому. Шестов не устает говорить о метафизике, о чудесах божьего мира, о пророческих постижениях великих умов человечества.

Это дало повод некоторым критикам назвать Шестова религиозным мыслителем *par excellence*. Но и на религиозной истине, делающейся добычей «всемства», Шестов показывает, как она идет в конце концов на поклонение к тому же разуму. Истина Откровения в руках научно вышколенных философов и теологов обращается в единую истину, в единую всеспасающую догму, т. е. испрашивает благословения у самодержавного разума, самодовлеющего добра. Больше всего человек боится свободы. Сам Бог, чтобы получить предикат бытия, должен обратиться к тому же разуму. И «нормальный теолог» Фома Аквинский, для которого *ex nihilo nihil fit*, подает в этом отношении руку современному мыслителю Джемсу, старавшемуся в «многообразии религиозного опыта» уловить нечто общее, что можно было бы вывести за скобку субъективных переживаний, т. е. и тут и там подводится логический фундамент под религиозное творчество.

Теологическая критика, назвавшая Шестова «библейским человеком», должна будет в конце концов признать, что та великая и последняя борьба, к которой он вместе с Плотиним зовет человеческие души, лежит по ту сторону и теологической, и научной истины. Несомненно, что Шестов в истории религиозного опыта человечества уловил те редкие моменты, когда религиозная мысль выбивалась из пут наукообразных построений и оправданий религиозного Откровения. Его философский анализ религиозного опыта Лютера, указание на значение спасения «единой верой», а не «добрыми делами», его проникновение в таинственную, загадочную атмосферу посланий ап. Павла, пророчеств Исайи дали вполне основательно повод школе Барта сблизить русского мыслителя с знаменитым датским философом Киркегором (Kierkegaard). Отклонение этического момента в силу абсурдного, парадоксального, прославление жертвы Авраама и рыцарей чистой веры роднят мысли Киркегора с философией Шестова, но они еще слишком отягощены категориальностью: единичное и общее, имманентное и трансцендентное взаимно исключают и поддерживают у Киркегора друг друга; он находит еще по временам удовлетворение в гегелевском самодвижении понятий, которое он силой своего таланта превращает в «диалектическую лирику». Второе зрение, о котором говорит Шестов, он получил, когда личные переживания вырвали его, как в свое время Паскаля, как в наше время Ницше, Достоевского, из «всемства», и он,

как Иов на пепелище, ропщет и «препирается с Господом», он не хочет «бесполезных утешений» нашего разума и требует ответа от Неба. «Разве гром, — говорит он, — не ответ, не объяснение, надежное, верное, первичное, ответ, данный самим Творцом? Пусть этот ответ раздавливает человека, он величественнее, чем утешения о справедливости Провидения, которые выдумывает человеческая мудрость». Но мы перестали слышать и видеть знамения Неба, мы разучились разбирать таинственные письма, даже когда они начертаны человеческой рукой, нам, ослепленным светом разумного познания и естественных объяснений, нужно какое-нибудь сверхъестественное *memento*, чтобы проснуться — и то на мгновение — от того сверхъестественного же наваждения и оцепенения, о котором говорил еще Паскаль. Не потому ли этюд Шестова о Паскале («Гефсиманская ночь»), о мыслителе, оставшемся вдали от больших дорог философии, был для французской критики «гениальным» откровением, пришедшим из чужой страны? Философия Шестова не хочет ни поучать, ни проповедовать, — она хочет только вырвать нас из общего аристотелевского мира и вернуть нам человека, созданного по образу и подобию божьему, превращенного в мертвый объект наукообразными построениями философии, вернуть мир живой действительности, пусть действительности, полной трагизма, но от ужасов жизни и смерти нельзя укрыться в раковину автономного добра или другой «возвышенной» в своем безразличии и безучастности идеи, как и не всем, и не всегда дано улететь на крыльях экстаза в страну творческого вдохновения и прозрения. Как Иов на пепелище, мы должны отвергнуть «бесполезных утешителей»; либо отречься от Господа и окончательно умереть, либо предать свой дух во власть вечной Тайны и внимать в священном трепете голосу из неопалимой купины.

## Г. П. ФЕДОТОВ

### Лев Шестов. На весах Иова

Лев Шестов знаком и дорог нам в своем чрезвычайном привлекательном, особенно в наши дни, образе — свободного искателя истины. Отвергнув сознательно академическую или научную философию (главный враг его жизни), он избрал вольный и с виду веселый путь «странствователя по душам», или (в средневековом смысле) «жонглера» мудрости. Но за легким и пенистым его стилем — как застольные речи древних — все явственнее слышатся ноты глубокой серьезности. Мы даже склонны опасаться, как бы эта серьезность не уступила место